

КРЕСТ

Одну из последних Вячеслав Дёгтев назвал «Крест», и она живет в нас теперь как знак судьбы.

Он жил и писал страстно. До конца отдавался тому, о чем писал. Сюжеты его повестей и рассказов поражали, порой били наотмашь, слово — емкое, колоритное, насыщенное соками живой жизни — завораживало. Проза Дёгтева заставляла чувствовать, будила мысль, требовала от читателя: «Не спи! Действуй, здесь и сейчас же!»

В моем личном архиве — запись первого с ним разговора, в тот день, когда он впервые пришел в редакцию газеты, где я работала. Он еще не был известен в столице. Но у себя дома, в Воронеже, Дёгтев печатался широко, работал в «толстом» журнале «Подъём».

В тот памятный для меня день он появился в редакции неожиданно. Так и стоит перед глазами его красивая, мощная фигура. И чувствую до сих пор, как буравит он меня цепким и острым взглядом, желая зацепить.

Он положил на стол, уверенно и с чувством собственного достоинства, аккуратные тоненькие листки рукописи: в правом углу сверху было подчеркнуто — «фамилию писать через «ё»: Дёгтев (он никогда не забывал вписать эту строку).

Уроженец деревни из Воронежской области, что южным краем граничит с Доном, он гордил-

ся, что происходит из рода потомственных землепашцев: сын деревенского кузнеца, и сам кузнец, и фамилия пошла от едкого и сочного русского слова «деготь»: без дегтя ни одна телега с места не двинется.

— Я до 26 лет жил в деревне, поставил дом, во мне 96 кг — нормальный русский шестипудовый мужик, — сказал он весело и, спросив разрешения, осторожно присел напротив ждать, когда я прочту его рассказ. Наступила напряженная тишина.

Читаю напечатанные на простенькой машинке строки: «Странно — ты девушка... Все русские уже в пятнадцать лет — джяляб.

— Ну почему вы так о нас?

— Почему? А потому что вы — выроденцы. Как всякие холопы, вы не уважаете себя, поэтому вы обречены... Все империи и все великие народы погибли от распущенности и разврата. Вы обречены на вымирание. Как Рим, как Византия... Ваши призывники боятся идти служить, у нас — все наши мужчины воины...»

Это был знаменитый теперь рассказ Вячеслава Дёгтева «Джяляб». Потом были не менее жесткие, и страшные, и другие; был «Псы войны», вызвавший в печати нешуточные «бои», принесшие автору немало страданий.

По окончании чтения я долго молчала, опустив голову, не сразу справившись с накатившей волной чувств.

— Страшно. Жестоко, — медленно проговорила я, еще не зная, что скажу дальше.

Он ждал этого слова, ждал, как сигнала к наступлению. Заговорил страстно и порывисто:

— Жестоко! А жизнь — не жестокая?! Это же НАША ЖИЗНЬ, другой нет и, наверное, долго еще не будет!.. А у нас развели психологию «вечных мальчиков»! До семидесяти лет бренчат под гитару неуявдающий «Троллейбус», а на Родине снаряды рвутся, слезами детей залита земля, окровавлены ближние и дальние границы, урезано поле Отчизны! А народец все подхихи-

кивает, по-прежнему «кукиш в кармане» прячет. Стыдно.

— Вы давно пишете? Бывали в Чечне?

— Конечно. У меня вообще богатая биография — служил, летал на самолетах Л-29 и Миг-17, работал по демобилизации на газодобыче в Туркестане, был разнорабочим, был помощником машиниста... Да не в этом дело!

— А в чем же?

— Да в том, что творится в стране! России навязывается психология нытиков. Кто-то делает это, плетет интригу, ссорит народы России. Я написал об этом в рассказе «Кинжал»...

Он замолчал, посмотрел на меня испытующе. «Да стоит ли вообще с тобой откровенничать? Поймешь ли?..» — прочла я в его дерзком вызывающем взгляде.

Потом сказал, как отрубил, припечатал:

— На Руси испокон веков почитали Александра Невского! Суворова!..

И опять замолчал, оборвав себя почти на полуслове, а потом вдруг решился: заговорил горячо, страстно, доверчиво, точно окончательно уверился, что найдет не только понимание, а нечто большее, в чем — я почувствовала это каким-то «шестым чувством» — он очень нуждался:

— Из какой же такой морали родились комитеты солдатских матерей, генероями стали самоубийцы? Объясняют — режим довел. Не по-русски все это! Русский человек всегда умел постоять за себя. Отступничество от жизни — грех великий. Человек обязан уметь себя защитить, свои правила жизни, свою мораль. А жизнь на Руси легкой никогда не была, обратитесь хоть в дальнюю нашу историю, хоть в ближнюю...

Я начал писать под влиянием смерти прадеда. Он умер 7 ноября 1974 года, коммунист, организатор первых коммун на деревне, участник 1-го Всероссийского крестьянского съезда. И дед мой, Максим Терентьевич Дёгтев, был коммунистом, председателем колхоза. В 1942 году сам себя приговорил — застрелился, потому что не хотел идти в лагерь с клеймом «враг народа». У меня есть об этом рассказ. В нашей семье ни-

когда никакими обид по поводу не держали. Понимали — были определенные «правила игры»: выбрали тебя председателем колхоза — давай выполни план, получишь награду. Не выполнил план — отвечать будешь, не сумеешь — стреляйся. Жестокая, но справедливая мужицкая правда.

«Юношеский максимализм? — задавала я себе вопрос, слушая его. — Но ведь не так уж он и молод. Берет жизнь круто, мыслит — как пласты земли плугом отваливает — широко, масштабно».

Вспомнилось: «У меня есть об этом рассказ». Вот он

— «Тесные врата». Сказ о том, как привез отец сына, уже в наши дни, в родную деревню, на погост, — поклониться деду, своему отцу, застрелившемуся у сына на глазах.

...Шолохов, Бондарев, Казаков... У него были очень личные отношения с этими писателями. Нич, не рассказывал он о «своих» встречах с ними. Да неизвестно, были ли таковые, не цитировал он их строки в своих произведениях, намекая на какую-то особую «близость». Он «продолжал» в себе жизнь этих мощных художников, сильных и ярких людей, перед которыми испытывал особый трепет и уважение. Их отношение к литературе и русской судьбе, их раздумья и мысли аккумуляровались в нем как естественный ход истории, покоряющей все новые и новые пространства жизни. Они воплощались, обогащенные новым его опытом, его страданиями и поисками правды жизни и искусства, к служению которому он относился очень серьезно.

Одному из самых сложных своих рассказов, философски насыщенному, отягощенному противоречивыми думами и сомнениями, бунтующему против мелочности и в то же время трепетному в лирической своей незащищенности и поэтичности — «Недогоревшая свеча», — он предпослал эпиграф из Юрия Казакова: «Настоящий писатель — это, прежде всего, писатель, думающий над вопросами важными».

— Я пишу с пятнадцати лет, печатаюсь — с семнадцати лет, — говорил он

напористо. — И считаю, что писатель в жизнь литературы должен врываться, входить в нее так, как А.М. Горький, А.П. Чехов, Дж. Лондон, О. Генри, — писать потому, что так велел тебе Бог. Тогда ты действительно писатель. Есенин погиб в 30 лет, Маяковский застрелился в 35, Шолохов выпустил «Тихий Дон» в 25. Нет «молодых писателей» или «старых писателей». Есть или — писатель, или — не писатель.

Да, Вячеслав Дёгтев был категоричен в суждениях и поступках.

О любви писал пронзительно. Его прозу не спутать ни с чьей другой. Романтик, он умел видеть покоряющую КРАСОТУ И ВЕЛИЧИЕ МИРА. И воспел их. Ушел из жизни молодым.

Таким и остался в нашей памяти — неповторимым русским писателем.

Галина ОРЕХАНОВА.
«Литературная газета»

НА РОДИНУ ТАК И НЕ ВЕРНУЛСЯ...

2000-й, 10 января, понедельник.

Еще был дома, когда позвонил Вячеслав Дёгтев. Сообщение о том, что ему присуждена Платоновская премия, московская(!), уже прошло в газетах. Условились встретиться. В библиотеке нашел «Коммуну» за 30 декабря и сделал выписку. Спускаюсь вниз, там уже ожидает Слава. Еще на майские праздники я снимал его в городе. Пару раз он заходил, но только вчера отпечатал для него фотографии...

По проспекту Революции шли активисты клуба любителей старины. Слава надел кольчугу, и снимал я его с мечом на фоне барельефа с конем и всадником на фасаде телеграфа. Пожалуй, не менее часа просидел у меня и говорил в основном он. Моя мать из Источного, а он родился в Коммуне, на хуторе рядом с этим селом. Когда несколько лет назад, разговорившись, узнали об этом, сблизились.

В школу он ходил в село, жил в интернате напротив дома моих близких родственников, у которых летом месяца в детстве проводил. В одном из расска-



в Коммуне и понял, что родина — там. Запахи, а главное — вкус воды. Дошло, почему всю жизнь городская вода была неприятна ему: вырос-то он на чистойшей родниковой. Задумал купить там или построить дом. Не был Слава на родине тридцать лет и рассказывает об ощущениях детства. Угадал интуитивно лошину, куда их с сестрой водила бабушка. На деревьях все так же, как и тридцать лет назад, грачиные гнезда. Теперь в своих мыслях он вновь живет там:

— Куплю «Ниву», может быть, даже новую... Дороги плохие, и это хорошо, меньше заезжих... Огород не нужен, возможно, десятка два помидоров. Хотел бы пчел завести, но сомневаюсь — будут мешать творчеству. Обязательно пруд, тракторист за день плотину поставит и дно подготовит. Зарыблю его, набросаю коряг, чтобы сетями не баловались, удочкой — лови...

Планов у Славы было много, но не случайно говорят: «Хочешь насмешить бога, расскажи о своих планах...»

зов есть упоминание, как это ему не нравилось. Уехали оттуда, когда был подростком. Жили в Юневке, Гремячем, Шилово, это уже под Воронежем. Да и по стране его поносило...

Рассказывает, что пару лет назад был

Николай СТРЕБКОВ

ПАР НАД КРОВЬЮ

В одном из ранних и теперь уже старых рассказов пришлось как-то описывать деда Илюху. Упомянуть о его голубях, пчелах, ружьях, которых было множество и одно из которых достанется потом мне по наследству, о его манере разговаривать и курить, держа при этом сигарку меж вытянутых тонких пальцев, о том, какие чудесные концерты устраивали они с бабкой Аксюткой (которая в том рассказе окрестилась почему-то «Ксюшей»), о верных его друзьях-односумах и о гончих его собаках...

Мать до сих пор как возьмется читать тот рассказ — так и ну плакать. Прямо ревмя ревет. Он и самому все еще нравится...

Но вот сейчас все чаще кажется, что недосказал, недоговорил, не дописал; кажется, что дед был настолько широк и глубок, настолько многогранен и многообразен, что очень многое упустилось и недорассказалось в том давнем уж теперь рассказе. Особенно мало уделилось внимания собакам...

Вот они, его собаки, всплывают в памяти, стоило лишь только упомянуть их. Рыже-ржавые русские гончие. Бывали у деда и простые пегие гончие, и даже метисы, муругопегие, рыже-бурые, с пятнами, но и от тех и от других дед вскоре отказался — слабы они оказались супротив наших-то «русских». Хоть и красивы, и осанисты, конечно, несравненно, даже и толковать не об чем, — так объяснил свое разочарование дед

друзьями-охотниками, а те кивали в знак согласия: слабы, слабы, об чем тут толковать, Илья Стефаныч, и балакать нечего...

Собак бывало обычно около десятка. Четыре-пять старых, брудастых, и столько же молодых, еще не опсоевших, которых дед то и дело немилосердно драл арапником, «учил». Но зато уж и выдрессированы были его собаки — куда там Дурову!

Вот сидит дед в сенцах — от земляного, вымазанного глиной пола там всегда прохладно, а от развешанных по стенам всевозможных трав — духовито, духмяно, пряно, как в какой-нибудь аптеке «зеленой». Сидит он на маленькой скамеечке, на которой бабы доят коров, перед ним на табуретке, — большая миска с вареной курицей. Дед смачно ест курицу, а кости бросает собакам, которые стоят в ряд перед порогом и смотрят деду в рот — у них вожжой текут слюни. Они ловят каждое его движение и слово: вот он обсасывает косточку, куриную «кобылку», говорит отдельно: «Кукла!» — и бросает «кобылку» любимой своей выжловке — Кукла на лету хватает ее и польщено, излишне громко чавкает. Дед через некоторое время вновь провозглашает: «Заливай!» — и бросает другую кость. Заливай, отличный полоторыжепегий верхочуй и редкомах, ловит ее, потянувшись вперед, едва не переступая порог — все собаки разом начинают ворчать на него, скиглить зубами, давая понять, что знают закон: за порог нельзя. Запрет! Гок!

Дед говорит: «Атукай!» — и бросает очередную кость молодому выжлецу, который толком еще не опсоел и ходит пока что по-зрячему. Кость пролетает мимо Заливая, у самого несколько подудротоваго его щипца, и тот не удерживается, хватает ее. Ам и хрум-хрум! Все собаки, как по команде «Атрыш!» — шарахаются от него и нарушитель остается в одиночестве. Он мужественно, как и подобает настоящей кровной собаке, лишь с короткими, негромкими подвизгами, принимает удары дедова арапника. Нарушил, преступил закон — получи!

Через минуту трапеза возобновляется. Так же чинно, как и до экзекуции.

Увы, как говорится, и ах! Заветные картины эти в памяти — самые сладкие...

Дед был эдаким стихийным философом. Пчеловод и охотник, собачник и песельник, он держал множество голубей, разных пород, знал в них толк и даже брал на выставках какие-то призы; в клетках у него сидело два десятка певчих птиц; никаких «искусственных» кенаров-вырожденцев, лишь природные, натуральные щеглы, чижи и дрозды — «певчие», «черные» и «дерябы»; в сенцах несколько перепелих несли ему диетические яйца, а в хате, под образами, в красном углу, сидели в резных клетках соловьи. Помните, у Е. Маковского есть знаменитая картина с «непродажным» названием «Любители соловьев. 1872 г.» — там в трактире трое солидных дядек из разных социальных групп — купец, барин и мещанин-прасол, — при парящем на столе самоваре, среди развешанных по стенам икон, слушают в живописных позах поющего соловья. Подобное приходилось наблюдать у деда Илюхи постоянно. Особенно когда открывалась охота. Тогда к деду съезжались его старые друзья, которых молва почему-то считала всех без разбору отставниками-полковниками, может, потому, что приезжали они, как правило, в сапогах-бурках и бекешах, некоторые — с суконными башлыками; приезжали они из Воронежа и Москвы, один «генерал» неоднократно навещался из Сталинграда.

Дед выписывал «Красную звезду» и «Сельскую жизнь», а также «Пчеловодство» и «Охоту», где были восхитительные охотничьи рисунки, вы-

полные свои со знанием дела, ко всевозможным охотничьим байкам и рассказам. Четыре раза в год приходили «Охотничьи просторы», альманах, переплетенный как книжка — он обертывался газетой, после чего быстренько с ним на печь и, прижимаясь к горячим кирпичам, прямиком в сладкую-сладкую сказку. Арсеньев, уссурийские тигры («бабры»), Дерсу Узала и женьшень, волки Зворыкина и упряжки Джека Лондона — до сих пор одни лишь слова эти слаще всякой самой нежной музыки... В том альманахе впервые были прочитаны «Сибирские записки» Черкасова, чудесная повесть Пермитина о первом ружье и первой охоте, под вой пурги пролотились «Живые деньги» Скалона, а также повесть Дрянского, его восхитительные, гоголевского уровня и размаха, «Записки мелкотравчатого», где упоминалась, между прочим, и наша, воронежская Каменная Степь, а также новохоперские места, в описываемое время почти совсем незаселенные, сплошь целина и залежи, отъемы да ржавцы-мочажины, и когда прочитал о волчьих облавах, о травле русаков и лисиц набродом и наездом, в нахлопку и назирку, о стадах стрепетов, дроф-дудаков, — прямо-таки заболел: ну почему, почему, черт возьми, родился так поздно! Когда все самые интересные события уже свершились?! Почему не родился хотя бы в прошлом веке? А еще лучше — во времена казачьей вольницы...

У деда была своя компания таких же сельских самодеятельных философов. Они хотя бы раз в неделю собирались у кого-нибудь из своих. Ах, что это бывали за посиделки!.. Все они жили по принципу: несчастен тот, кто счастливым себя не считает; в мире же все справедливо, и кто пожил, тот это знает, а потому ограничь себя немногим, и у тебя будет все необходимое, потому веселая бедность — вещь чистая и здоровая. Казалось, жизнь для них не была ни вопросом, ни загадкой; они играли в карты, нещадно дымя табаком, щелкали подсолнухи и орехи, плюя шелуху прямо на пол, пили самогон, брагу или медовуху и рассказывали... рассказывали под хохот и подначки весьма легкомысленные и фривольные истории про леших и домовых, про ведьм и колдунов, про охоту, волков и лисиц, про русалок и оборотней, и становилось ясным, откуда брал свои сюжеты Гоголь; иногда вспоминали германскую и гражданскую; о последней войне говорили постоянно, рассказывали про немцев и мадьяр, про жите на чужбине и в плену. Перед тем как разойтись, уже в хорошем хмелю, играли песни. Те песни именно — игрались. На три голоса, хрипло, с надрывом, иногда со слезами, иной раз — с гиком и плясом. В каждой какая-нибудь суровая история, душещипательная, но чаще — на разрыв сердца.

Никогда уж больше не пришлось слышать ничего подобного. Все эти нынешние кадышевы — беспомощная и слащавая стилизация, китч, пошловатый лубок. Даже отдаленно не напоминающие те песни. Одно лишь упоминание всей этой псевдоэтнографической попсы оскорбляет дедову память. Над теми песнями беззастенчиво лились очистительные слезы — сладкие слезы. От нынешних «песенок» про «трещинки» можно только горько усмехнуться.

В те времена и пришлось услышать одну историю, которая произошла в Платаве, селе неподалеку. История была про то, как молодая солдатка вызывала попавшего в плен мужа. Он попал в плен еще в «империалистическую» и после войны остался в Германии. Жена писала ему нежные письма, с очень интимными подробностями, и утром, затапливая печь, сжигала те письма на загнетке и, сжигая их, шептала, провожая в трубу сизый дым: «Феденька, родненький мой, сокол ясноокий, прилети к голубке своей — заждалась, иссохлась вся, мочи моей уж больше нету!»

А у того в Германии была жена-немка и двое белобрысых ребят-погодков. Его давно уже перестали звать Рус-Иван, а стали называть Шварц-Теодор. Казалось бы, жизнь потихоньку налаживалась. Но только взяла вдруг его тоска. Скрутила, ссучила в конопляную веревку. Такая несусветная — хоть вой, хоть в петлю. Стал он проситься у немки — съездить на родину, хоть одним глазком взглянуть... Долго просился, до скандалов, до слез, наконец, уступила она ему. Взяла с него клятву страшную и собрала чемодан.

Приехал Федор домой, и назад уже не смог уехать. А клятву ту страшную поп ему отпустил, назвав немку «нехристом».

А лет через двадцать случилось у истории той продолжение. Во время войны заходит вдруг к Федору в хату молодой чернявый немец, заходит, отряхивает с шинели дорожную пыль, ставит в угол винтовку, снимает пилотку и говорит, приглаживая волосы:

— Ну, здравствуй, тятя! Гутен морген! Я твой сынок Вилли.

* * *

Да, друзья дедовы все были какие-нибудь эдакие. Одного звали Микоян, другого — Отвинтист; Иваны — Чистяк и Кутуз, Васька Лупкин, Черемушкин — на взгляд обывателя все это были какие-то чудики, но до чего ж то были интересные люди. И как, наверное, тосковал по ним дед в далекой той Перми (тогда — город Молотов), куда занесла его судьба...

Один его друг и кум, Егор Исайкин, перед смертью крестной твоей сапоги подарил, другой и вовсе от смерти неминучей спас, почитай, всю семью. А дело было так. Когда пришли немцы, они захватили Егора, дедова друга и кума (он крестил свою крестную, хотя бы «партийный» и работал в сельсовете «секлетарем»), эвакуироваться он почему-то не успел, немцы его и арестовали. Долго допрашивали в школе, били, потом вывели в школьный сад — копать себе могилу. Он вырыл яму, разделся — от рыхлой земли, медленно клубясь, поднялся пар, — увидел в толпе свою крестницу, тогда совсем еще подростка, и бросил ей сапоги — на память. «Куму Илюхе перекажи — при последней минуте поминал его. Нехай выпьет за меня когда-нибудь. Эх!..» — вздохнул он в смертной тоске.

Через некоторое время бабка Грапка, крестная и твоя мать, тогда еще ребенок, окажутся в лагере, в Семидесятском логу. Попадут они туда после того как на чердаке у них («соседка докажет, сучка рябая») найдут два солдатских, как у нас выражаются, «шинеля», которые бабка выменяла у наших окруженцев на хлеб. Вот за эти-то «шинеля» бабку с детьми в лагерь и определяют. Лагерь представлял собой огромный овраг, огороженный по верху колючей проволокой. Охраняли его мадьяры и полицаи. Полицаи были в основном из казаков. В лагере содержались, кроме солдат, гражданские; человек пятьдесят были с детьми. Жили в землянках, которые сами же заключенные и копали. Дольше двух месяцев, как правило, не выдерживал никто. Кормежка была — одно название: воз свекольной ботвы на всех да несколько мешков гнилого жмыха. Бабка приспособилась выбирать из лошадиного навоза овсяные зерна, промывала их, толкла и варила кашу.

Среди охранников оказался знакомый полицай, дедов друг-охотник, тоже кум, Люля. Бабка угадала его, окликнула через проволоку: «Кум Валик, ты ли это?» — «Ды я, кума», — отозвался тот смущенно. Он не стал вилять и отпираться, посулился помочь. Сказал, что сделает все возможное, вот только надо дожидаться, когда мадьяр сменят немцы — они

не такие лютые. А пока бросал через проволоку хлеб и картошку. И правда, через неделю вместо мадьяр пришли немцы, стало повеселее, кормить начали хоть как-то, даже врач появился. И вскоре бабку с детьми «ослобонили». Бабка тому полицаю Люле, куму Валику, при народе в ноги поклонилась.

Вот такие у деда были друзья-односумы. Правда, кума Валика после войны расстреляли. Кто-то донес («доказал»), чуть ли не та же самая «сучка рябая, суседка», что служил он в полициях и принимал участие в карательных акциях — его к стенке и прислонили. Ах, как горевал, как жалковал по нему дед! Люля-то веселый, остроумный был парень...

Через много лет придется как-то прочитать у одного китайца, жившего в веке, кажется, десятом или восьмом небольшое стихотворение, смысл которого сводился к следующему: вот сидит автор на пороге своей фанзы в глубокой печали; рядом в пыли возятся чумазые раскосые дети, бродят поросята и куры, собаки преданно заглядывают в глаза, жена здоровая, теща сытая, а у него, горемыки, тоска. Тоска, которой не с кем поделиться — не поймут. А дело в том, что раз в год он отправлялся в горы, шел два дня, чтобы провести неделю в гостях у своего друга Вана. Это была самая лучшая неделя в году — они всю неделю читали друг другу стихи и говорили о поэзии. И вот пришло известие, что Ван умер... С кем поделиться теперь своей печалью? Кто разделит его горе? В семье у автора все благополучно: дети сыты, скотина размножается, жена здорова, теща обута, риса достаточно, — но вот только беспросветная тоска у того древнего китайца на сердце. И жизнь сделалась бессмысленной и никчемной...

Когда придется прочитать это, ты аж вздрогнешь самопроизвольно: ведь это ж про деда твоего, про деда Илюху, да будет ему земля пухом! А теперь уж и про тебя самого — один в один.

* * *

Во время войны дед будет ранен в первом же бою. Недалеко от Ржева, в январе сорок второго. Перед тем дня три их будут держать в каких-то ригах. Круглосуточно они жгли костры посреди помещения, спали на соломе: растлали шинели, ложились голова к голове, несколько человек в ряд, укрывались другими шинелями. Наутро волосы оказывались смерзшимися... Где-то вдали гроыхала война. На четвертый день погнали мимо них какие-то «частя». К деду в ригу заскочит молодой земляк, попрощаться.

— Ну, прощевай, дядь Илюх. На передовую гонють, так что не сержай, ежели что не так. Кланяйся от меня нашим, ежели что...

Они покурят напоследок, и парень уйдет догонять свою роту. Так его больше и не видал никто и никогда. Всего из нашего села погибнет шестьсот человек...

На следующий день выдвинутся на передовые позиции и они. Окопаются в снегу. Немец начнет обстреливать из минометов. Маленький осколочек попадет деду в скулу и перебьет косточку, пониже глаза, под которую заходит нижняя челюсть.

Больно почти не было, хотя челюсть не закрывалась, пришлось подвязать ее, как покойнику, тряпкой. Дед покажется взводному и санинструктору, после чего вылезет из траншеи и пойдет в тыл, в медсанбат. Стоял сильный мороз, снег блестел как алюминий и скрипел как картофельный крахмал, с каждым шагом, с каждым скрипом дед будет удаляться

от смерти. За спиной бой громыхал, разгораясь все сильнее, и почти все ребята останутся на том безымянном поле — в ту зиму подо Ржевом стояли насмерть, — и кто не будет убит, тот замерзнет, раненый. В такой мороз раненые дольше часа на снегу не живут. Зато, говорят, смерть удивительно легкая: лишь только задремал — душа и отлетела...

Попадет дед в госпиталь в Пермь, тогда город Молотов. Через полгода, после излечения, он будет признан «годным к нестроевой» и его оставят при госпитале конюхом. Со временем он сойдется с какой-то молодой, рано поседевшей вдовой-солдаткой, и у них вскорости родится девочка — дело житейское. Дед рассказывал, что была его молодая жена печальной, потому, видать, и тосковать он начал; когда провозжала на фронт своего первого мужа, зашила ему в ладанку, вместе с землей, и клоч своих волос, так многие у них тогда делали, вот мертвец, похоже, за косы-то к себе и тянул... А еще рассказывал, как охотился в тех местах на сохатых, глухарей и тетеревей (он так и говорил, на старинный манер, — «тетеревей»). Медведей, правда, стрелять не пришлось, да и сам не решился испытывать судьбу. Что это за охота, шутил, не поймешь, кто же ты сам — охотник или добыча?

* * *

Война кончилась, а от деда ни слуху ни духу. Ни похоронки, ни извещения, что пропал без вести, ни писем — ничего. А в те времена была еще свежа вышеописанная платавская история. Та история гуляла, обрстая всякими подробностями, что будто бы и младший сын к Федору приезжал, правда, младший по-русски почти не говорил и дичился отца, потому что совсем почти его не помнил, и что ребят федоровых побили обоих на фронте к концу войны, а сам Федор, нарушитель зарока, сошел с ума, — но не суть важно. Главное, история эта давала вдовам надежду. В том числе и бабке.

Мать рассказывала, что бабка Грапка, когда дети засыпали, частенько писала на бумажке заклетья. Потом, уже за полночь, садилась у печного устья и начинала читать речитативом написанное; читала, распустив волосы, с придыханием, с каким-то страшным в горле клекотом: «Идешь мне навстречу двенадцать братьев родных, двенадцать ветров, я тринадцатому, старшему, поклонюся, помолюся и покорюся верой и правдой. Соймися с мене, ветры, тоску тоскучую, горю горячую, снесия тоску тоскучую, горю горячую по избам, по хатам, по тюрьмам, по богодельням, да по сердитым тюремщикам. Несия, не урония в черно-зыбучие грезии, ежели урония, черно-зыбучие грезии высохнут, захряснут, заколенеют. Снесия к рабу Божьему Илюшеньке, мужу моему венчанному, чтоб он без мене, верной жены, не мог ни жить, ни быть, ни дни дневать, ни ночи коротать, ни днем при солнушке, ни ночью при месяце, ни при ветху, ни при молоду, ни при ушшербну. Пойду я на святой акиян-море да поймаю белу рыбу шшуку, чтоб бела рыба шшука слова мои в тайне могла соблостия, чтоб никто не смог бы их достать. А хто их из белой рыбы щуки достаня, тады слова мои попрячутся. Тут словам моим ключ и замок. Чтобы дуть не сдуты и мыть не смыть, во век по-веки и от ныне до-веку». После чего бабка открывала в печи задвижку и зажигала эту бумажку при загнетке. И дым тоненькой, острой, как спица, струйкой, уходил в трубу...

И вот к сорок седьмому году обуяла деда тоска. А уже дочь у него была прижита. А тут вдруг — продыху прямо не стало... И решил он написать родным письмо: жив-здоров, а вы как там? Написал. Крестная, в те поры

уже невеста, два дня ответ ему писала. Все-все описала: и оккупацию, и лагерь, и лепешки из овса, наковырянного в навозе, и голодовку послевоенную, когда и таким лепешкам были б рады...

Отправила письмо, а бабка ворожить стала пуще прежнего. Каждую ночь звала: «Илюшка, муж мой Богом данный, воротись!» Называла его ласковыми именами, на Благовещенье отпустила всех его птиц певчих, переживших войну и голодомор послевоенный: летите, птахи, зовите хозяина! — даже исписала, а потом сожгла их свадебную фотографию, единственную заветную память, очень дорогую и самую, пожалуй, сокровенную, о которой потом много раз вспоминала и жалковала.

И дед вернется. Он отпросится у своей молодой жены: поеду, мол, хоть погляжу, как они там, помогу чем-нито и ворочусь... обязательно ворочусь. И та его отпустила. Эх, женщины, женщины!

Всю дорогу до Воронежа глаз не сомкнул. Приехал в Воронеж — все порушено, города не узнать. Потому что нету города! Но запах... ах, запах родины! — так и шибанул в голову. Как молодое вино, как неперебродившая брага. Там, на Урале, все чужое — и вода, и лесные запахи, и даже хлеб совершенно другой. А главное, так и не нашел он там друзей по себе. Ни с кем не сошелся близко, ни к кому душой не прикипел. Может, просто не попался такой человек, может, народ иной...

Всю ночь не шел домой — на крыльях летел. Нардоваться, надыхаться не мог. Земля черная и теплая, пыль по-особому першит в горле и в носу свербит, кругом чурюканы свиристят, кузнецы трекочут, дергачи косы точат, перепела спать укладывают, соловьи заливаются, каштаны и акации цветут, липы пылят зеленой своей пылью, на меловых взлобках серебристые ковыли струятся по ветру, а в кронах пирамидальных тополей луна, как медное начищенное блюдо прячется — в том далеком, северном краю ничего этого нет, даже луна другая. Суровая там природа. Суровая, а главное — чужая.

Домой на рассвете пришел. Посмотрел — все порушено, разграблено. Растащено все подчистую. Сел на порог и заплакал. Все прахом!.. Но оказалось, пасека сохранилась, несколько колодок. Пошел к пчелам, они уже проснулись, вьются радостно, словно признали хозяина, будто по запаху угадали своего доброго Бога, ни одна не ужалила. Ну куда, куда тут от них уедешь?..

Молодая жена вскоре письмо прислала, но бабка Грапка перехватила его и сказала, что, мол, дочь твоя малолетняя, Илюх, померла. На самом деле сообщения того в письме не было, а были обычные женские уверения: вернись!..

Дед написал в Пермь письмо, но бабка ухитрилась перехватить и его. Так и остался Илья Стефанович на родине. Бабку через несколько лет Боженька накажет: в страшных муках умрет она от рака поджелудочной.

А в Перми, выходит, у тебя, парень, живет тетка. Вот такая она, жизнь, крученная штурковина. Как веревка... Ежели придется когда побывать в том далеком северном городе и случится выступить по телевидению, обращусь к жителям: так и так, может, знает кто солдатскую дочь Валентину Ильичну, у которой отец был солдат, из воронежских, Илья Стефанович Аксенов? Вдруг да случится чудо, и предо мной предстанет пожилая уже женщина, похожая на крестную или на деда, никогда никого из нас не выдавшая, прожившая жизнь вдалеке от своей родни. А может, случится так, что она прочтет этот текст, сердце у нее екнет и она напишет письмецо: здравствуй, дорогой племянник, пишет тебе твоя уральская тетка...

И ты отведишь ей. Ответишь, что вядь Коля, ее брат и твоя крестная, старшая ее сестра Настя, давно уже встретились на небесных пажитях с дедом и с бабкой и ожидают там нас всех, каждого в свой черед, а в живых осталась одна лишь Катя, еще одна ее сестричка, то есть моя мать...

* * *

Да, похоже, вернулся дед все-таки не к семье и даже не к детям, а к странному своим друзьям. Самый яркий среди них был, конечно же, Пашка Горюн. Помнится, сказал как-то: «Что наша жизнь? Недоразумение природы. Довольны судьбой одни лишь распутники, грабители, убийцы да воры. Остальные, у кого хоть какая-нито есть душа, — все страдают. Да и сама душонка-то наша всего лишь... всего лишь, на самом деле, — пар над кровью».

И сразу же вспомнится, как дед рассказывал когда-то про войну: после захлебнувшейся атаки на снегу лежали трупы, и над ними в морозном воздухе, над каждым, стоял последний пар, и что именно тогда он со всей страшной отчетливостью осознал, до чего ничтожно все в этой жизни, презренно, низменно, бренно и скоротечно. Отлетел пар, все равно что груша созревшая упала с ветки. Или листок оторвался от черенка. Как это банально, и сколько про это понаписано задолго до нашего рождения. И все — и слова эти, и размышления-сетования, — все как в бездну...

Каюсь, пришлось покривить душой — и зачем?! — перед истиной в том старом своем рассказе, где упоминал о Пашке Горюне. Оба, и Пашка, и дед, смотрели на действительность не с позиции жизни, как это делает большинство народа, — они взирали на нее с позиции смерти. В том рассказе «образ» Пашки получился излишне «подлакированным». На самом деле Пашка не дожил до старости, не сделался благообразен и похож на врубелевского Пана, не произносил красивых банальных сентенций — он повесился по пьянке, написав на стене: «Мать дура». Тем самым жутко разочаровал меня. Он должен был написать, коль уж решил свести счеты с жизнью, что-нибудь эдакое, «философическое», что-нибудь вроде того, что жизнь — есть миг и держаться особо-то не за что, суть ее — течение из ниоткуда в никуда, ощущения — обман, плоть — брenna и презренна, душа — химера, выдуманная неврастениками, ужасающимися надвигающейся тьмы, откуда нет возврата, судьба — сказки для глупых старух, слава — сладкий дым, выедающий к старости глаза, а сама жизнь — всего лишь странствие по чужбине, где ты никому не в радость и потому высший смысл жизни — подготовка к смерти. Или что-нибудь в этом же духе. А он нацарапал нечто совершенно безумное и дикое в своем варварстве.

Но захотелось почему-то приукрасить его, сгладить его предсмертную «дурь», и оттого что-то, чувство какое-то, давно уж не дает покоя. Наверное, от того, что написал тогда неправду. Но как же дед-то убивался по Пашке! Как по самому близкому человеку. После Пашкиной смерти дед вдруг резко, заметно стал седеть, ссутулиться, разом превратившись в старика. Даже странно, что обычно сдержанный, насмешливый и довольно скупой на ласку дед мог так горевать — по совершенно чужому человеку. Все-таки, видно, друзей он любил по-настоящему.

В том давнем рассказе я и к себе обращался во втором лице — «ты» — и называл себя почему-то «Валерой» и сделал художником (я и сейчас попытался было начать писать от второго лица, да только, как видите, не удалось, съехал на первое), и написал, что сын у меня один, а их тогда

было уже трое. А еще бабу Аксютку, тогдашнюю дедову жену, почему-то назвал в том рассказе «Ксюшей», может, думал, что это одно и то же имя, а «Ксюша» казалось посовременней, попримичней что ли, и дал понять, что она — единственная его жена и моя, стало быть, родная бабушка. На самом деле — она у него четвертая жена, хотя нельзя сказать, чтоб дед был такой уж отпетый ходок, просто жизнь так складывалась: первая жена с дочерью умерли в гражданскую от тифа, вторая, моя родная бабушка Грапка, умерла в пятьдесят третьем, одна жена осталась в Перми, и бабушка Аксютка, выходит, четвертая...

После дедовой смерти сохранились две самодельные тетради со стихами. Одно очень длинное стихотворение запомнилось: рассуждения о том, кому жить лучше — холостому или женатому. Куча сентенций в стиле и духе вышеизложенного. Да, дед был стихийный, природный философ, со скептическим взглядом на жизнь. И не его вина, что до некоторых расхожих банальностей, по причине малограмотности, доходить ему приходилось своим умом. Помнится, сказал, теребя ухо своей любимой Кукле: «Чем дольше живу и лучше узнаю людей, тем все больше люблю собак». Тогда это показалось затейливым каламбуром, и лишь много лет спустя мне вдруг вспомнится это, и я лишь горько покачаю головой: тут и собак-то нету...

Вот и все, что осталось от деда. А еще две пожелтевшие фотографии, которые хранятся у матери, да два ветхих письма: одно, неотправленное, в Прагу, на мотоциклетный завод-изготовитель «Мотоков», с просьбой прислать стекло для передней фары дедовой «Явы», а также «камары, так как у Воронеже таких вещей нету» (он у нас «явист» был, рассекал, как говорили тогда, на «Яве»); другое письмо — в нашу семью: «Привет ункам Еще привет таму кто будя читать в апервых привет зятю Ивану Андревичу и привет Дочки Екатерины Ильиничной Еще привет унуку славику Славик я забыл табе показать лисицу проста забыл Еще привет унучки Люси и желаю харошева здоровья Еще привет унучки Вали и желаю харошева здоровья и долгих лет жизни...» Дальше он передает слово бабушке Аксютке и та, уже от себя, передает всем приветы и тоже желает всем долгих лет жизни и «харошева здоровья».

Забытые дедовы друзья и сам дед, давно уже покойник, вспомнятся, когда будем проезжать с матерью через Гремячье и Рудкино... Да, мы ехали с матерью и со взрослым моим сыном на родину, выправлять-«выстаривать» матери бумагу о ее пребывании в концлагере, она надеялась на прибавку к пенсии рублей в двести да еще бесплатный проезд полагается, да уголь, ну и прочие всякие мелкие льготы-поблажки. И так случилось, что путь наш пролегал по старой острогожской дороге, через Гремячье и Рудкино. И вот поднялись мы на гору, где когда-то было рудкинское МТФ, а теперь остались лишь развалины коровников, поднялись и увидели вдруг огромный мемориал, отделанный гранитом и мрамором, с часовнями из красного кирпича и даже с двумя фонтанами. И все это — на фоне завалившихся коровников, на фоне нищеты и запустения. Как банкет в море. Или свадьба на погосте...

И тут, непонятно к чему, я вспомню деда, вспомню его друзей, чьи косточки давно уже истлели в заросших бурьяном-старюкой могилах, на покинутых кладбищах, с покосившимися крестами, с измочаленными грязными рушниками на них, и горло мое отчего-то сожмет, потому что много, много чего не совсем еще ясного всплывет в душе, то, что невозможно объяснить, выразить словами...

В последнее время почему-то часто снится один и тот же сон. Видится багровый шар солнца, который опускается в лилово-алые промерзшие бесконечные зелена — опускается прямо на глазах. Он опускается, закатывается, и тебе холодно, аж до костей промозгло, и присутствует какое-то грандиозное, непонятное, неясное, однако чуть ли не восторженное чувство, что-то трагическое от самого лицезрения этого события — ухода за горизонт нашего светила, звезды, «желтого карлика», по имени Солнце. И, может, оттого, что первый заморозок побил раньше времени посевную траву, отава состарилась и преждевременно поникла, как болезненный ребенок, от того, наверно, травы так остро и как-то печально-предсмертно пахнут; под тобой — дубовые пеньки, целый воз, они тоже резко пахнут кисловатой прелью, и ты, одиннадцатилетний мальчишка в старой отцовской фуфайке, восседаешь на этом возу. Ты не понимал тогда, как не понимаешь и сейчас, когда тебе все это снится, что тогда печалило, от чего саднило душу, или скорее нечто, называемое «душой», тогда ты не смог бы проанализировать этого, а теперь — не хочешь. Потому что боишься заглядывать в ту бездну, куда лучше не заглядывать. Там нету дна...

Ах, как тяжело просыпаться!

Видно, тогда впервые почувствовал себя частицей этого громадного и в то же время такого крохотного мира. Наступающие холода, увядание трав, закатывающееся светило, заиндевелая савраска, едко пахнувшая потом, волглые, сильно тронутые плесенью дубовые пеньки, — сколько миллионов повторений этих картин, этих запахов наслоилось в твоей памяти, в памяти, переданной от предков с кровью... Нет, не объяснить, не осознать и не объять этого даже сейчас. Да и не к чему.

А еще снится старый пруд. Он был как-то странный. Ничто не росло по берегам его, хотя столько приносилось вами с Дементевских прудов и осоки и камыша, и куги, — вы приносили, рассаживали вдоль берегов, через какое-то время коровы съедали эти диковинные для них растения; запускали из тех же Дементевских прудов «гибридов» — рыбу, выведенную из сазана и карася, — никто никогда ни разу не поймал в вашем пруду ни одного «гибрида», неизменно шел на удочку исключительно карась. Из Репьевки, с реки Потудань, привозили в бидонах ракушек и раков — и они пропали в вашем пруду бесследно. Из Прилужного притащили штук двадцать вьюнов — нырнули они в мутные воды пруда — и канули. В Осадчевском пруду водились странные, лупоглазые, с огромными пышными плавниками, совершенно красные рыбы — вы пошли туда всей своей ватагой, человек двадцать пацанов десяти-тринадцати лет, наловили целую флягу этих красивых красных рыб, привезли на свой пруд, выпустили — и никто никогда не поймал ни одной лупоглазой рыбки. Словно провалились. Какой-то странный, как будто проклятый кем-то или заговоренный пруд.

И вот он высох. Уже три года совершенно сухой. Пересох до самого дна. По бывшему дну растет жирный пырей. Пересохли еще несколько прудов, гораздо больше и глубже вашего. Один был настолько велик, что даже нанесен на карту, — и тот пересох. Говорят, климат изменился, изменился кардинально, стал более сухим.

А тебе он до сих пор все еще снится, тот пруд из детства, снится на-

полненным водой, снится розоватый пар над ним, после дождя, когда стоят запахи парного молока, теплого ила, лягушачьей икры, и все это плавает, клубится над тихой водой, у которой по поверхности непередаваемо красивые, прямо-таки радужные цвета, а сама вода, если зачерпнуть в ладонь, немного беловатая, потому что течет из меловых гор, легкая, теплая, ласковая, до неги, как покинутая на время утренняя детская постель. Ах, как это было счастье — погружаться в детстве в эту теплейшую, легчайшую, нежнейшую воду! И как тяжело просыпаться...

Однажды я расскажу эти свои бесконечные сны-грезы бородатому художнику, которого когда-то считал другом, а теперь перевел в ранг приятеля, — он загадочно улыбнется и достанет из груды эскизов несколько готовых картин, на которых все это окажется изображенным: и подмерзшая ноябрьская дорога с сутулившимся кипреем по обочинам, с кустами конского щавеля и татарника, и телега с заиндевелой лошадкой среди лилово-алых зеленей, и багровое светило, закатывающееся в бездонную яму на горизонте, и розово-сиреневый пруд, с невесомыми испарениями над смиренной водой, с пятнистыми коровами на берегу, с босоногими мальчишками, удящими рыбу и — на других картинах — кучерявый дубовый лес, побитый первой желтизной, как ранней сединой, и гон золотистой лисицы по-зрячему, среди бурой осенней степной травы, азартные гончаки-редкомахи, рыжие и полово-пегие, с жаркими языками на сторону, с паром из черно-алых пастей, с кровавой пеной на губах; а на пригорке полуразрушенный ветряк и там охотники «стоят на крови», а вдали одинокая телега, у самого горизонта, на фоне багрового заката...

Я восхищенно скажу, что это, братец, у тебя шедевры. На что художник улыбнется жалостливо и снова спрячет их в пыльную кучу других не востребуемых полотен. На подставке у него будет стоять неоконченная, заказанная каким-то толстосумом картина с чудовищами, у которых рога и перепончатые лапы... В углу, среди всякого живописного хлама, старых касок, всевозможных гильз и снаряженных патронов, среди нескольких штыков и нескольких ржавых гранат (одна румынская, другая итальянская и наша «лимонка») я вдруг увижу череп с аккуратными дырочками в затылке — входной и выходной — с очень хорошими, молодыми зубами, а рядом с черепом — скукоженную кожаную ладанку, треснувшую от времени, с пучком рыжеватых волос, торчащих из разрыва... На мой недоуменный взгляд художник бросит равнодушно, что, дескать, подарил эту находку один его молодой приятель, который промышляет рытьем «смертных» мадьярских медальонов.

Боже мой! Эта женщина, может, живет еще где-то, живет и даже ждет своего возлюбленного, того, кому отхватила когда-то едва ли не половину своей косы и аккуратно зашила в ладанку. Да, она где-то, может, еще доживает, а ее волосы, несколько не изменившиеся, с черепом любимого валяются в пыльной мастерской художника, среди всяческого военного псевдоэтнографического хлама. Но как мог он принять такой «подарок»? Как смог так быстро измениться-огрубеть?

Лет двадцать назад, когда он числился еще «молодым» художником и состоял в разряде моих друзей, жил он на каком-то вымирающем хуторе и писал пейзажи. Скучал. А тут повадилась к нему ходить одна старуха. Придет и стоит за спиной. Стоит и молчит. Часами стояла и смотрела. Потому вдруг попросила нарисовать сына Васятку, убитого на войне. Никакой карточки, говорит, не осталось, нарисуешь — вот и будет ей на старость лет радость. А за работу она станет каждый день носить банку

молока и десяток яиц. Художник сначала опешил, потом попытался отказать, сказать, что, мол, занят — тогда старуха пообещала петуха старого зарубить, все равно толку от него уже никакого. «Да как же я нарисую твоего Васятку, мамаша?» — «Это ничего. Я тебе расскажу, какой он был. Волосья потемнее твоих были и даже немножко вроде как рыжеваты, нос, почти как у тебя, только бульбочка потолще, на подбородке, вот тут, осыпинка, а тут — родинка, а здесь — шрамик, в детстве коза брухнула, а лицом потемнее тебя и поскуластей будет, — нарисуешь, родимый, ты же художник. Вишь, Полькина телка у тебя — как живая».

И так взялась она его уговаривать, каждый день, так рьяно взялась, что он сдался. Ладно, говорит, попробую, только отвяжись. Старуха даже опешила. «Правда?» — и посмотрела на него так, будто он не портрет пообещал написать, а живого сына ей вернуть...

Она пришла, как было велено, через пять дней. Привела с собой еще трех старух, которые стояли за спиной, переминаясь с ноги на ногу, пряча под фартуками свои черные, изработанные клешнятые руки. Художник всполошился: ну все!.. раскритикуют, похоже, вчетвером-то!.. Но делать нечего: тут уж хоть и яловая, а телись. Он повернул к ним холст. Старухи ахнули в один голос: «Васятка!» — и в три глотки заголосили. Мать опустилась возле портрета на колени и целовала непросохший холст, и смиренно мочила его слезами: «Ну, здравствуй, сынушка! Здравствуй, Васенька, голубчик мой! Вот и свиделись!»

Художник плакал вместе с ними.

Эта картина, омытая слезьми материнскими, что святей святой водицы, так и осталась на том забытом хуторе. Посмотреть на нее ходили толпами, с соседних селений. Такого «успеха» у художника не было больше никогда в жизни.

И вот прошло двадцать лет, и от прежнего художника не осталось, кажется, уже ничего. Он любит вспоминать эту историю, рассказывая, преображается, купается в былой славе и почете, но рисует теперь всяческие перепончатокрылых монстров, исключительно за баксы. Да, видно, все каким-то странным образом взаимосвязано в этом мире. Просто пока что нам не дано понять этих закономерностей — но они существуют, они есть, ибо всякий поживший на свете знает точно, что за все, за все — своя плата, свой расчет... И потому верится, что рано или поздно придется встретить свою пермскую тетку.

Ты приедешь за чем-нибудь в эту самую Пермь (раньше — город Молотов, так дед называл его до самой своей смерти). Будешь жить в гостинице, гулять по городу, пытливо всматриваться в лица встречных женщин пенсионного возраста. Будут встречать русые, черные, крашеные, но больше всего будет, конечно же, седых, с карими, синими, немного раскосыми глазами. Не, не то, не то... Найдешь госпиталь — он будет действовать, как действовал безостановочно и во время войны. А где же тут при нем конюшни? А вон там, покажут, сейчас в тех зданиях склады. Ага, женщина, на которой дед женился, скорее всего, жила поблизости, в слободке. Тут же оказалась, выходит, и дедова дочь. Как же ее звали-то? Анна? Так нет же — Валя!

Пойдешь, побредешь по улице. Сердце скачет. По этим же камням ходил дед шестьдесят лет назад. Одну женщину встретишь, другую, заглянешь им в лица — нет, не то, не то. Порасспрашиваешь о тех годах. Нет, не знают, не помнят. И вообще не местные.

Будешь ждать старушку, похожую на крестную (она на деда была

похожа больше всех), и тут бы ей сразу вопросик: а по батюшке вы случайно не Ильинична? Да? А звать не Валентиной? А отец — Илья Стефанович? Ну, здравствуй, тетя Валя, я — твой воронежский племянник...

Но не попадались похожие на крестную. Попадались совсем другие.

Так пройдешь всю слободку из конца в конец, и под старыми соснами увидишь кладбище, зайдешь туда, что-то поведет, поведет, повлечет тебя, и вдруг уткнешься в свежий памятник из нержавеющей стали: с керамической карточки будет смотреть на тебя фото женщины, рожденной в 1945 году, которую звали при жизни Анной Ильиничной. А девичья фамилия — Аксенова. Так значит все-таки — Анна!

Да, а за оградой увижу мужчину лет тридцати, похожего на деда Илюху в молодости, до того похожего, что всякие сомнения отпадут сами собой, стоит подойти к нему поближе: он даже курить будет так же, как дед, держа папиросу меж вытянутых пальцев. Рядом с ним будет стоять девочка, похожая на мою мать со старинных пожелтевших фотографий, где она еще совсем ребенок; а у ног девочки — лохматый спаниель, любимая моя порода...

— Ну, здравствуйте, дорогие родственники! Вот и свиделись...

Ах, если бы вы знали, как долго и как тяжело все это писалось. И какой кровью...

АУТОДАФЕ

(Плач)

*Подвергнуть кого-либо публичному позору
и даже сожжению — это еще не значит
доказать свою правоту.*

Макиавелли.

Крестный мой горделивый, бильярдно-лысый и медленно усыхающий, давно уж передает-намекает: пусть бы, дескать, крестник написал о хуторе нашем родимом. В некотором роде — увековечил бы и прославил. А я все откладывал да отмахивался: ужо еще! Пока не съездил на родину. И вот, земляки милые, единокровцы незабвенные, извольте убедиться: прославляю и в некотором роде увековечиваю. Хотя и не без смешанных, горьких чувств.

Мне казалось в последнее время, что вокруг меня все еще легкий утренний сон развеивается, как прихотливый розовый туманец, клубящийся, отплывающий, подобно мареву, — а то проходит, проплывает, истончается мимотекущая, мимолетная, почти мгновенная жизнь моя ненаглядная, проистекает неумолимо, и все мимо, мимо, как вода из горсти, просыпается, провеивается, как песок в часах, чах-чах, чах-чах, улетает, как ветер духовитый, духмяный, сквозь седую тополиную листву струящийся... И вот уж сорок мне годков, и на родине милой не бывал лет эдак двадцать пять с гаком.

И вот собрался и поехал.

Приехал, оглянулся окрест, —

И душа моя содрогнулась.

И я горько-горько заплакал.

Глубоко в душе.

Я воспеваю-хорошо, дорогой читатель, не о глянцевой заграничной экзотике, воспою-восславлю не «сладкую парочку» и не «пепси», которое кто-то где-то выбирает, я поведу речь о смиренной нашей, сирой и убогой, а теперь еще и вечно пиано-пьяной родине милой, о далеком, серо тлеющем под нещедрым солнцем вымирающем хуторе, который давно уж позабыт Богом нашим православным, да и неправославными богами позабыт тоже... Я знаю, дорогой, как занят ты собою, любимым, и тебе, мимоидущему, мимобегущему, конечно же, нет никакого дела до какого-то там далекого, безвестного поселения отнюдь не городского типа, — но это моя родина, слышь, братан, серая, неказистая, и вечно похмельная, лохматая, непричесанная, и потому я попытаюсь все же пропеть о ней достойно и, если уж не возвышенно, то хотя бы без унижения, и постараюсь, уважаемый, чтоб тебе, пресыщенному, не сделалось бы скучно.

Итак, мне казалось, что думы о родине давно уж оставили охладелое, очерствелое сердце мое равнодушное; мне давно уж не жаль чужую кровь, что как водица, да и свою не жалею; давно не подаю нищим, друзьям не верю, и женщинам, и к исповеди-причастию забыл уж когда ходил. Думал, что никогда уж не потянет меня под те трехохватные дубы, усеянные гнездами грачиными, под которыми сделал первые, самые важные в жизни шажки несмелые, — из сказочного небытия сделал в этот горько-попынный, продажно-прогнивший, несовершенный мир печальный. И вот я на родине неприветливой, неприглядной, и пятеро из шести, кого встретил, были пьяно-пианы и на бомжей похожи, я не угадал их и они меня не узнали тоже, а под дубами, между тем, все так же пахнет грачиным пухом и пометом, и дубы, кажется, ничуть не изменились, не прибавили ни в росте, ни в толщине за те двадцать пять с гаком разлуки. Впрочем, четыре дуба успели рухнуть. Увы, даже эти могучие великаны не вечны в этом ложном мире, неверном и нестойком.

После дубов направляю стопы свои к крестному, скромно ожидающему. Вот он — на крылечке крашенном, расписанном, стоит и смотрит из-под ладони, маленький, прямой, горделивый, как Суворов какой-нибудь или Бонапарт-корсиканец. Сейчас он, пожалуй, самый справный на хуторе хозяин, хоть и старик совсем. У него с женой пенсии, мерин, пасека, ухоженный сад и два огорода, а также разнообразной, разнокопытной скотины и птицы разноперой, плавающей и неплавающей, полон двор его просторный. Ему семьдесят, однако больше пятидесяти восьми никто не дает, глаза голубы и глубоки, как апрельское бездонное небушко, он бодр, в ладах с юмором, ум ясен и здрав, черты лица правильны, даже, можно сказать, благородны, недаром происходим мы из таллагаев-однودворцев, крепостное ярмо предков не коснулось, наоборот, сами имели право живые души покупать. Даже сейчас он кое-что выписывает из прессы, в основном то, где мелькает крестник. Он поддержит беседу с любым профессором, а при случае и «срежет», за ним не заржавеет, выпьет с вами и даже песни поиграет, но ум никогда не пропывал, и память отменная. Можно смело утверждать, что жизнь его удалась и прошла с пользой.

Почему же у вас, милые сверстники, друзья-односумы, почему у вас она не сложилась, не получилась, не склеилась, а кое у кого уж и завершилась трагично? Почему ушли на небесные пажити не в свое время Бартень, сгоревший от водки вместе с братом Васькой, Сашка-лекарь прямо в борозде, непохмеленный, отдал Богу душу свою нескладную, Сашка Мицин по пьянке убит в собственном киоске, Худяк зарезан нетрезвым, и прочие, прочие хорошие люди по пьяни дурно кончили.

Ах ты, Сашка, Сашка, Сашка Бартень, Ползун ползучий! Зачем же ты, дурачина, так сильно водчонку белую, огненную воду крепкую возлюбил? Ведь оченно неполезная та жидкость для нестойких морально человекoв.

Ты был бессменным нашим победоносным полководцем, под чьим началом мы обирали сады чужие урожайные, совершали рейды дальние, дерзкие экспедиции на Дементевские пруды заповедные, сторожами пиаными охраняемые, где ловили-таскали рыбу прямо из-под носа у охранников. Ты был нашим вождем, отцом-командиром, учителем, атаманом и паханом, неистощимым на выдумки, это про тебя Райкин говорил: «Игру-ун!» — и все мы твердо верили, что ты, когда вырастешь, станешь генералиссимусом или капитаном Немо, или Че Геварой, или Чапаем, на худой конец, Миклухо-Маклаем, а ты стал плотником и пианицей беспробудным. Эх, Сашка, Сашка, Сашка Ползун! Зачем же так скоро покинул ты этот мир юдоли, променяв его на пеяние ангелов, ибо куда ж еще попадешь ты, как не в рай, ведь Бог наш православный любит русских безобидных, чистых душой, безответных пианиц несчастных. Один лишь грех за тобой помню — тот маленький пушистый котеночек...

Ах, Сашка, Сашка, Сашка Бартень!
Мелькнула жизнь твоя
Яркая, бестолковая, скоротечная —
Как метеора взблеск.
Мелькнула — и будто
Не было ее!

Почему же не выходит у вас жизнь, милые мои сверстники, почему рвется по швам, трещит? Что за проклятье? Что за страшный рок ужасный? Неужто в самом деле устала-надорвалась ты, Русь-матушка, жить-страдать, умаялась радоваться победам и захотелось-загрелось тебе не жить-мучиться, а поскорее уснуть-преставиться, и хочешь уйти поскорее туда, где нет трудов и забот, где нет воздыханий, а лишь сплошное питье нектаров и полеты бесконечные не во сне, а наяву, и что успенье теперь, говорят, главное, нежели рождество, а слова «смертию смерть поправ» уж не веселят открывающейся бесконечностью, не горячат кровь застывшую, не толкают на подвиги безрассудные.

О, несчастная, о несмелая, неславная, несильная родина-мать моя сирая! Как называется сия болезнь неизвестная, труднолечимая, и куда пойти нужно, куда податься, чтобы сдать, слить кровь за тебя свою горячую, чтоб исцелить, оживить тебя, синеокая моя? Однако нигде не принимают ярую, рудую горячую кровь мою бурлящую, и поэтому плачу я в сердце своем и рыдаю, потому что жалею очень бедную свою родину умирающую, на позорище выставленную.

Но нет! Нет! Не все еще потеряно, коль есть такие мужики, как крестный, жилистый, семижильный мой. Вот садимся за стол с ним, над которым смиренные серые, русские пчелы толстожалые вьются, залетевшие через открытую распахнутую форточку, выпиваем ярого, жгучего самогона его крепчайшего, на каких-то дивных, сорока двух травах настоящего, закусываем пупырчатыми огурцами-опупками малосольными, черный аржаной хлебушек самопечный макаем в мед гречишный, горький и тягучий, в котором крылья да лапки пчелиные застыли, совсем как в янтаре, и неторопливо ведем беседу бесконечную, витиеватую, прихотливую, свитую как веревка власяная, о дедах-прадедах, о старине седой-косматой, о вет-

рыжках и извозе, о кузнях каз для крупярушника, о Сталине и Троцком, о комму-не и колхозе, и вдруг он заявляет ни с того ни с сего вроде, что похож я, дескать, не в калединову породу и не в терентьеву, а шибая по всем стать-ям на брата бабки моей по отцу, на Мишку-доцента Клевцова, что в Курс-ке-городе учил студентов потрошить болящих человекoв — вот откуда у тебя головка-то острая! — любовно гладит он по затылку моему шишко-ватому. И я польщенно подпираю бестолковку свою кулаком и отвожу взгляд осоловелый за окно прозрачно-голубое, и уже не слышу, как крест-ный рассказывает о тех крестинах, когда держал меня, девятимесячного, на руках, а я «уделал» его прямо в церкви Новосолдатской — бес нечист-ый выходил, как заметил батюшка с улыбой... Я смотрю за окно, а за окном... ах, за окном патриархальный огород покато-выгнутый с садом старинным, где одурающе пахнут воргуль и антоновка, пахнут, как в тре-тий день творенья, а ниже — пепин-шафран краснеет, а еще ниже — лес-дубрава, откуда наносит терпкими прелыми ароматами детства, где горчит дикая груша, и орешник-лещина перешептывается, и лягушки в ручье прощально поют, скоро уж им засыпать-цепенеть, лупоглазым.

Мы смотрим на это, купаемся в древних, девственных запахах слад-ких, и молчим. Торжественно и многозначительно. Аки библейские бра-даты патриархи суровые. А за окном...

За окном порхают белые,
Последние порхают мотыльки
Невесомые. Как пух.
Как пух ангелов Божиих.

Кто скажет, почему так долго стоял я у старого шиповника, что на меже, стоял и нюхал, нюхал его прекрасный запах, щемяще-сладкий, до слез чудесный. Под этим кустом устраивал когда-то курень — лежал, вы-глядывал сквозь колючки гнутые и нюхал, нюхал аромат розы дикой, серебрярины колючей. Память на запахи самая стойкая, самая кровная. Сейчас из оврага запахом глины наносит сквозь раскрытую форточку, и сразу человечки большеголовые вспоминаются да кони толстоногие, ко-торых лепил я тут, а также целый каскад воспоминаний, волнующих, мя-тущихся обрушивается, от которых чуть не задыхаюсь, чуть не захлебываюсь былым горем, — это ж именно тут, возле вон той лужины, тогда то-нюсенкой, а сейчас увядающей, Сашка Бартень, наш бессменный коно-вод, а теперь покойник, убивал, Ползун ползучий, котенка, а я присут-ствовал при той казни, и поклялся, что когда вырасту, убью-подвергну Бартеня-душегуба такой же казни. Увы, некого уж казнить-подвергать...

Мы сидим, молчим, и видим Колика, тоже друга детства моего незаб-венного, что, держась за плетень ветхий, при царе Горохе сооруженный, возвращается средь бела дня неспешно, верно, откуда-то с гульбища ве-селого, — и опять туча черная наплывает на очи мои ясные. Ну вот что, что делать с поколеньем ровесников, с поколеньем потерянним, поколе-ньем дворников и сторожей, вечно-пианых философов, пофигистов гре-банных, гипертрофированно-гордым, инфантильно-расслабленным поко-леньем никчемным.

Ах ты, Колик, Коля-Николай, Коляда-кучерявая борода, заблудшая, забубенная, забухаистая твоя головушка седеющая, — что ж ты с собой творишь-делаешь? Помнишь, лежали на вершине обдерганного, осевше-го пахучего духмяного скирда-стожка кособокого, лежали и смотрели-пялились в небо бездонное, ночное, и мечтали о межпланетных переле-

тах-станциях, об иных мирах-цивилизациях, о встрече радостных, волнительных с рогато-антенными братьями по разуму? Теперь у тебя другие братья по разуму... Помнишь, как хоронили трясогузку, которую кто-то из наших подстрелил из рогатки-праца? — а ты изготовил для нее гробик и даже крест воздвигнул на могилке, и обсадил цветочками лесными, незабудками синими. Где же ты прежний, мил-друг? Куда пропала-испарилась душа твоя нежная, тонкая, искрометная? Кого вижу я пред собою — горький пианица, угрюмый, невеселый, неприветливый, небритый, нестриженный, немытый, непохмеленный, несвежий и немолодой, неумный и несдержанный, — неужто ты это, Колик милый, тот, кому я когда-то — единственному! — послал свой первый наивный опус, зная, что только ты поймешь и оценишь. И ты поддержал, написав в ответ: ничего, дескать, первый блин — он завсегда комом!..

Куда же подевалась твоя легкая лукавая веселость, твой искрометный ум, где растерял ты все былое, где иссосалась, подобно льдинке весенней, чистая душа твоя, чуткая и отзывчивая? Неужто этот грязный, небритый, босой, полупьяный, косоротый мужик со слюнявыми губами, — ты, мой Колик благородный, самый близкий друг детства, которого я всегда считал умнее себя, честнее и во многих вопросах тоньше и деликатнее? О, как жестока ты, жизнь пропащая, жизнь нетверезая, жизнь пианая, похмельная, жизнь-копейка, жизнь-жестянка, на которую давно махнули рукой, посчитав, что не удалась судьбина горькая и что простояла она, неказистая, пропыленная, на обочине, а мимо весело плакатилась жизнь настоящая, полноценная. Э-эх!

За что, Господи, наказываешь целое поколение наше — пьянством беспробудным, благодушием преступным, леностью и гордостью, легкомыслием, инфантильностью, безверием и безумием, бездушием и беспомытством? Позорищем великим на потеху всему миру? Неужто все это плата страшная за грехи колхозников-отцов наших и дедов-коммунаров, пытавшихся в простоте сердца создать рай земной, согласно марксова евангелия? И что же вышло из затеи той возвышенной, из мечты той святой, дерзновенной? Увы, трава кругом по пояс, а ни масла, ни молока нетути, сплошной самогон рекою мутной разливается, поля черноземные могильной широтской травой-бурьяном, старюкой ороговевшей зарастают, и несметное количество зайцев да перепелок-куропаток расплодилось, как после войны разрушительной, а ночами осенними, длинными, промозглыми волки-бирюки воют по курганам. Землица-матушка наша уродимая, черная, жирная — хоть на хлеб ее мажь, — неродная больше людям на ней живущим, не мать стала, а мачеха подколотная. В глазах же ваших мутных беспросветность непроходимая, а в закромах — пусто, мыши передохли, и всесветная тоска тоскливая, тоска зеленая, болотная, непротивленная, после которой смерть несомненна, неизбежна и покажется благом, избавлением от мук, а руки ваши в кулаки не сжимаются, лишь стакан сжимать привыкли, семя ваше так и спорит в вас, так и уйдет с вами в могилу, ибо невесты ваши и жены ваши неверные, беспутные, вас презирающие, неуважающие, рассеяны по белу свету великому, неприютному, по барам-бардакам турецким и всего мира необъятного, где их «наташками» зовут-кличут, и спят они с чурками позорными, смердящими, обрезанными, и рожают от лилово-фиолетовых негров кучерявых коричневых бастардов, — вам же все равно, вам наплевать, вам лишь бы булькала влага горячительная, вы давно уж привыкли обнимать одну лишь бутылку зелена вина, и готовы день-деньской лопатями махать иль

вилами за-ради стакана самогана желтого, бурячного, вонючего из руки пухлой нового хозяина жизни. Вы ли это, пацаны, возвращенные на Александре Невском, Корчагине и Чапае? Нет, не вы. Неведомы мне эти субтильные, серолицые доходяги, эти лохматые существа красноглазые, имеющие лишь подобье человеков. Вы подобны чайкам расслабленным, халявой избалованным, кои имеющие резвые крылья, влачатся по мерзким помойкам, вместо того, чтобы лететь — навстречу морю, навстречу буре.

Вымирает, вырождается, исчезает раса
Наша победоносная, род-племя
Наше русское, русое, великое, славою
Овеянное и легендами, боянами
Воспетое, нашими и иноземными.
И некому усилить, продлить его.

И я говорю крестному, что горько и больно, и обидно смотреть на родину свою сирую, где двадцать лет ничего не строилось, не обновлялось, не возводилось, а только разваливалось, растаскивалось, проживалось, пропивалось, — и когда же наступит конец всему этому раздраю-разбою? Когда же снизойдет на страну нашу, на народ покой и благодать? Когда же?

На что крестный, посмотрев на меня в упор ясным наполеоновско-суворовским зраком, отвечает: однажды мужик один, дескать, забубенный проиграл саботульнику жену младую, красивую, неприступную, гордую и строгую. Проиграл на сутки, и выигравший решил за сутки эти так над нею надругаться, чтоб позора хватило на всю жизнь оставшуюся, — он созвал приятелей, таких же, как сам, вывел женщину пред алчные их черные, непотребные очи похотливые и приказал раздеваться. И когда она отказалась повиноваться, — стал срывать, стал сдирать с нее одежды ее светлые, непорочные. Страстно взмолилась она к Господу нашему, заступнику: помоги, Отче, ибо видишь, невинна я! — и Господь неслышно отозвался: вот Я, во всей славе своей! И чудо свершилось: одежды ее светлыя, непорочныя не иссякали на ней, сколько ни сдирал их злодей ярый, не срывал, не изрывал, пианный, безумный, — он раздирал, а одежды не кончались. Уморился злодей, остановился, призадумался и понял, что тут что-то не так. Да и гости вмиг протрезвели, испугались и разбежались.

Так и с Россией-матушкой, сынок. Обирают ее, проигрывают, обдирают, как липку, унижают, высмеивают, а она все стоит среди великого позорища в одеждах-ризах светлых своих, непорочных. Обирают, обдирают, грабят, а все никак не оберут, не обдерут и не ограбят. Унижают, обливают грязью, а она все равно чистая и все равно великая. Потому и вечная она, потому и святая. Тыщи лет стоит в славе и впредь стоять будет. Вот выгорит безжалостно, как в плавильном котле-тигеле вся ложь, вся неправда, вся лень и ржа, сгорит в шлак, в прах, в пепел, — и останется один звонкий металл чистый, литой. Из которого хоть меч ковать, хоть плуг. И будем мы вспоминать об этом времени смутном, как о мороке похмельном, бредовом, и лишь головою качать. А историки честные назовут это временем очистительного самосожжения, и это будет правдой.

Ай да крестный! Ай да умница! Воистину, притчи твои Соломоновым подобны. Но как же ребята-сверстники, друзья-односумы, все поколение наше потерянное? Ведь жалко... Услышит ли Господь плач мой рыдающий, вспоманет ли о чадах своих непутевых, — ведь не для питья же зе-

ля гадкого, бесполезного послал Он в мир всех нас, — вспоманет ли, оглядит с небес и осияет своей благодатью?

И тогда, очнувшись
От угара хмельного, беспробудного,
Ударитесь вы главою буйною о кулаки
Пудовые. Очистительно восплачете, вырывая
Из бород запущенных клоки кудрявые,
И воспрянете, и покажете миру
Удаль русскую,
Русскую мощь и духа величие.

А ежели не очнетесь, мужики, друзья-односумы, и не воспрянете, тогда и жалковать об вас, о всех нас нечего. В шлак, в прах, в пепел — туда, значит, всем нам и дорога!

Очистительное пламя самосожжения не всегда означает смерть несомненную, чаще как раз наоборот — возрождение из пепла. Выгорай же скорее!

ХУТОР ЧЕВЕНГУР

Все было как всегда. Как в прошлые года. День выдался такой же сухой и жаркий. Не зря есть примета, что на Пасху и на Рождество Богородицы всегда ясно и тепло. Так было и в этот раз.

«Разминаться» красненьким начали еще в Богучаре, у начальника заготконторы, у Бурдейного Витьки, который был земляк-чевенгурец. В Лисках заехали в «Сельхозхимию», добавили у Тернового Сахуна, оттуда перебрались в Острогожский райпотребсоюз, к Алке Белокопытовой, у которой уже сидел директор Репьевской птицефабрики Эдька Ухань, сынок хуторской учительницы Галины Яковлевны, которая их всех вывела в люди.

Общий сбор, как всегда, в полдень, в Острогожске, у районного ДК. Выезжать собирались на нескольких машинах и автобусе. А пока — обнимались, целовались, пересаживались из машины в машину. Шутка ли — некоторые по тридцать лет не виделись. Вспоминали детство, всякие хохмы и, как сейчас говорят, приколы. «А помнишь? А помнишь?..» — неслоь отовсюду.

К их растянувшей, уже готовой отправиться колонне подскочила голубая «Газель». Рядом с шофером сидел краснощекий Арканя Голомедов, директор Павловского речного порта. Он показал стелу из нержавеющей стали, которую привез, чтобы земляки установили на хуторе — самому некогда, важное мероприятие на вечер запланировано с участием областного начальства, проигнорировать нельзя никак. Стела оказалась высокой, изящной, с надписью: «Охраняется совестью народа». Сам придумал — хвалился Арканя.

Стела понравилась, все наперебой стали предлагать, где ее установить. После непродолжительных споров и препирательств приняли предложение Алки Белокопытовой: поставить стелу на месте бывшего клуба. Место высокое, видное издалека, а до революции, говорят, церковь там стояла, которую срубили из дуба еще, кажется, в конце семнадцатого века их предки, основатели хутора.

Предложение «прошло», народ одобрительно загудел и стал рассаживаться по машинам. Многие сели в новенький, просторный «Мерседес»

Славуни Аралова, которого в детстве дразнили «Лупач» и который сейчас был какой-то шишкой в областной администрации. Стелу загрузили в автобус на задние сидения. «Сами установим, не бойсь, в лучшем виде!» — кричали вослед уезжавшему Аркане.

В автобусе оказался незнакомый седой человек. Как выяснилось — известнейший в области ученый-краевед и публицист Фрунзик Иосифович Алибасов. Познакомившись с ним для приличия, выпили и стали играть песни. Песни были старинные, игрались на три голоса, все сплошь походные да протяжные. «Прощай, родимая сторонка, прощай, любимый хуторок, прощай, девчонка молодая, прощай, лазоревый платок...» Ученый тоже пытался подпевать. Через какое-то время, когда напелись-наигрались и еще разок промочили горло, краевед стал рассказывать историю возникновения их родного хутора. Все, забросив разговоры, слушали с повышенным пьяным интересом.

Оказывается, хутор основан детьми боярскими, сиречь однодворцами, принимавшими участие во втором крымском походе под предводительством невенчанного мужа Софьи князя Голицына. «Поганые татаровья» и в этот раз уклонялись от решающей битвы, выжигали степь, травили колодцы. В войске начались болезни. Пришлось Голицыну опять возвращаться без славы. Кое-кто из стрельцов, подыскав на обратном пути свободную землю, оседал на ней. Вот так и возник хутор Чевенгур. Первые поселенцы: Белокопытовы, Бирюковы, Терновые, Бурдейные, Голомудовы... При последней фамилии все рассмеялись, вспомнив Арканю Голомедова. Хорошо, что его не было сейчас, а то бы, пожалуй, и в драку полез, он такой.

Но Фрунзик Иосифович, не обратив на смешки внимания, продолжал рассказывать: до 1783 года хуторяне-однодворцы служили в ландмилиции и приравнивались к помещикам, имели право покупать крепостных. Затем Екатерина II, после поездки в Крым, упразднила двадцать слободских полков, в том числе и Острогожский. Так чевенгурцы из «войсковых обывателей» стали «государственными крестьянами». На хуторе была церковь Рождества Богородицы, крупорушка, маслобойка, пять ветряков, церковно-приходская школа. После революции все это, за исключением школы, было разрушено. Правда, на месте сгоревшей деревянной церкви, на том же фундаменте, был построен клуб, где размещалась читальня.

В середине двадцатых годов, продолжал Фрунзик Иосифович, в окрестностях хутора работала мелиоративная бригада, которая бурила колодцы и возводила плотины. Было сооружено три пруда (все закивали: да, да, есть такие, Дементевскими называются, сейчас они давно уже не пруды, а заросшие камышом болотца). Руководил этой бригадой человек, ставший впоследствии известным писателем, который один из своих романов назвал — «Чевенгур».

— Да вы что?! Правда? — воскликнули в один голос сразу несколько человек и стали восторженно толкать друг друга локтями. Раскупорили новую бутылку. — Ну, за Чевенгур!

— Роман не печатали шестьдесят лет, — продолжал историк, отказавшийся выпить. — Но в тот самый год, как он был впервые опубликован, хутор Чевенгур прекратил существование — оттуда съехал последний житель.

— Да, то была бабка Гацуниха.

Все засопели, заскрипели импортными сидениями, лица потемнели, желваки заходили. Сделалось стыдно и как-то неловко.

— Но мы же помним о своей родине, — сказала за всех Алка Белокопытова, отличница, активистка и вообще «правильная». — Последние пять лет каждый год, в Богородицын день, в наш престольный праздник, мы приезжаем сюда, об этом даже газеты писали, иногда до двухсот человек, привозим детей... — поперхнулась бездетная и безмужняя Алка.

Детей в этот раз, кажется, не было совсем. Оттого и повисла опять неловкая тишина. Лишь сиротливо позванивала на задних сидениях стекла... Путь был неблизкий, однообразный, с горы на гору, меловые склоны балок парили, над полями висело тягучее, прокаленное марево, — а каково тут было раньше, среди степи голой, на скрипучей бестарке, да при взмывающих быках! То-то люди были могучие, предки наши...

После недолгого, неловкого молчания разговор как-то сам собой перешел на политику, на недавние события в Югославии, на геополитическую ситуацию в мире — о чем еще говорить зрелым мужчинам? — и все наперебой стали высказывать мнения, похожие на оправдания, что вот-де нас, русских, слишком мало, мы даже не можем обиходить принадлежащую нам землю должным образом, отсюда и разгильдяйство, а так как человек ищет лучшей доли, более легкой жизни, его и тянет в города, ведь чтобы жить в деревне — это по нынешним временам подвиг, а кого заставишь совершать подвиги добровольно?! А вот если б нас было, скажем, как китайцев, нужда заставила бы обрабатывать каждый клочок, и никто бы тогда не смог уехать в город, или уезжали бы только самые достойные, и не было бы такой разрухи в деревне... — вот вкратце, в тезисах, темы тех пьяных разговоров.

И говоря так, философствуя этак, катились они комфортабельно в «Мерседесе» по жаркой, но выжженной русской степи, где поля в основном были уже убраны, а кое-где и перепаханы; и только иногда ежиной шкурой серел подсолнечник, да желтели лисьи хвосты неубранной кукурузы. Все были пьяны не столь от водки, сколь от возбуждения, которое каждый год, все более острое, посещало бывших хуторян, чем ближе они подъезжали к родным местам, — тут, казалось, даже воздух был какой-то особенный, пахучий, духмяный. Да, дым отечества... А разговор, между тем, свивался прихотливо. Говорили, что нас, русских, россиян, всего около двух процентов от общего населения планеты, а контролируем мы аж сорок процентов мировых ресурсов. Нонсенс. Пирамида, поставленная на острие, вверх основанием. Природа же не терпит неустойчивого положения. Да, поддакивали соседи многозначительно, война за передел мира будет обязательно, дело времени...

— На подъезде к хутору увидели впереди «КамАЗ» с железной будкой. — Кто это? — стали вопрошать бесперечь. Вроде в прошлом году никто на такой машине не приезжал. Кто-то бросил: наверное, Федя Бирюков свое потомство везет, больше некому. У него детей — только на «КамАЗе» и возить.

— Странно, — сказала грудастая Алка, смотрясь в зеркало, — в детстве такой недотепа был. Такой тихоня... — добавила она с восхищенным презрением.

— Вот по-тихому и настрогал — целый воз. Точнее — «КамАЗ»! — гоготнул Славуня Лупач, совсем не блюдя свой авторитет областного начальника. — За всех за нас отдал долг перед родиной. — И деловито оглядел присутствующих: у Алки ни мужа, ни детей, сама — мужик в юбке, у Сахуна один сын Рома, и тот из пивных не вылезает уж лет пятнадцать, у Бурдейной дочь Вика десять лет живет с мужем, но детей, видно, уже

не будет — «для себя» живут. У самого же Славуни где-то будто бы есть ребенок, но, как поговаривали, не совсем здоровый (слишком бурную молодость папа провел), и потому о детях с ним разговоры не заводят, — как в доме повешенного о веревке...

Они преследовали «КамАЗ», гнались, стараясь узнать, действительно ли Федя? Шофер у Славуни был — оторви! — но догнать не удавалось. Поля поворачивались, будто театральная сцена, кружил коршун с белыми подмышками, по обочинам плотной стеной стояли пыльные бурьяны, на дальних меловых взлобках крутояров, где стлался выгоревший ковыль, желтели столбики байбаков. Это была родина, это была земля отцов, политая кровью и потом, как это ни банально, — и эта земля была кинутой... В низине, перед мостом через заросшую кугой речку Потудань, машины остановились, сгрудившись кучей. Народ стал вылезать — было человек пятьдесят, — и отходить в сторону, туда, где копанка-криница, — там из меловой кручи бил голубой, пахнувший стеклом ключ Бурчак. Вода в нем — ледяная. Набирали во фляги и бидоны. Пили и не могли напиться. Это был вкус родины. Запах детства. Сколько ж их предков пили из Бурчака? Сколько судеб связано с этим родником?..

Возвращались назад к машинам — счастливые, взбодренные. Переговаривались оживленно — о воде, которую можно пить до бесконечности, как пиво все равно, о детстве, о милой юности, о том, что тогда все были разуты-раздеты, но жизнь была ключом. У всех — надежды, перспективы, планы. Вера, что родились не зря. Что нужны стране и родителям. В каждом дворе — по целому выводку детворы. Все выросли! И что не зря в древности проклинали не самого человека, а его потомство. И бесплодие считалось самым страшным Божьим наказанием. Да, да, — кивали собеседники, нация вымирает не от плохой медицины — от слабого потомства. Как только люди теряют интерес к жизни — к жизни ради самой жизни! — пиши пропало. Взять, к примеру, сербов и албанцев в Косово...

Да, прав тот, кто сильнее, кивали собеседники, рассаживаясь по машинам. Попробовали бы американцы поддержать албанских сепаратистов при Сталине... С этим согласился даже историк, поморщившись (видно, не любил он отца народов): сильнее тот этнос, — добавил, — какой моложе.

— И который не избалован комфортом, — встрял молчавший до того отчаюга-шофер. — Вот Китай, например. С ним всегда считались, какие бы кризисы там ни происходили... Поэтому ваш Федя, — кивнул он в сторону ушедшего «КамАЗа», — молодец. Именно его потомки и будут жить после нас. Все помрем, и вы, и я, и окажется, в конце концов, что человек ценен только тем, что останется после него. Дом. Дети. Сад. Корабль. Или книга на худой конец, — взгляд в сторону публициста.

Все молча рассаживались в автобусе, избегая смотреть друг другу в глаза. Все друг про друга все знали. Карьера, деньги — съели людей...

— В Америке со временем будут жить негры, — сказал шофер, запуская двигатель. — А у нас — узкоглазые бронецы. Россияне...

— Да, да... — закивали смущенно. Автобус дернулся и помчался по брошенной ими земле. На задних сидениях погромыхивала стела... Через полчаса завиднелись дубы, под которыми все они бегали когда-то босиками, гоняли из-под дубов свиней, которые любили собирать там желуди. Увидели давешний «КамАЗ» — из железной будки вылезали дети, весело хохоча. Повсюду лежал сваленный кирпич, лес, пачки ши-

фера. Стояли несколько трейлеров и армейских палаток, вокруг которых развевалось на ветру белье. Всюду сновали какие-то люди.

Кто такие? Откуда? Что тут делают?

Как выяснилось, переселенцы. Несколько семей. Председатель сельсовета, оказавшийся тут по случаю ежегодного съезда хуторян, Геня Шмыков, которого в детстве дразнили «Шнырой», объяснил: беженцы с Кавказа, сами выбрали это место. Думают к зиме отстроиться. Вот детей в школу возят на «КамАЗе»...

Настроение испортилось. Бывшие хуторяне уныло бродили среди чужих трейлеров и палаток. Было ясно: в последний раз... Больше сюда не приедут и никогда уж не соберутся они, разбросанные по обширной стране. И стела оказалась не нужна. Тем более, место, где ее думали поставить, было занято: там лежали блоки, кирпичи. Несколько смуглых бородатых мужчин расчищали древний фундамент из дикого камня, на котором когда-то стоял клуб, а до того — церковь.

— Почему именно это место выбрали? — интересовались у землекопов.

— А зачем в селе тесниться? Тут простор. Воля. Жить можно, как привыкли.

Бывшие хуторяне переглянулись со Шнырой, представлявшим местную власть, и по выражению его лица было видно, что он предвидит все прелести такого компактного проживания, и скоро хлебнет этих прелестей по самое некуда... Но Геня лишь развел руками.

— Да и хорошо тут у вас. Тихо, — продолжил носатый землекоп. — Не то что у нас, — неопределенно махнул рукой и показал на «КамАЗ», где еще не успели покрыться ржавчиной рваные пулевые дыры. — А на фундаменте мечеть поставим. Место отличное — далеко видно...

Уезжали с родного пепелища как с похорон. Впору было выкапывать и увозить покойников. На задних сидениях дребезжала стела. Все молчали. Лишь историк бормотал что-то о Куликовской битве, которая произошла в аккурат на Рождество Богородицы, но никто уже его не слушал. Подъехав к Бурчаку, остановились на мосту через смиренную речушку Потудань. Публицист хотел было напомнить, что и речка описана-увековечена, но от него отмахнулись. Шофер взял стелу и бросил ее с моста в трясины, прорвав ряску. Стела булькнула — и будто не было ее.

— Вишь, что творится! — пробормотал Сахун. — И такое — по всей России. Что же нам, русским, — покосился в сторону Фрунзика Иосифовича, — делать? А, мужички?

Все молчали. Даже всезнающий историк, хоть и покрылся обиженно пятнами. Видно, недаром злые языки говорили, что среди историков он публицист, а среди публицистов — нацмен...

— Что-что... — бросил через плечо шофер, злобно взглянув на Алку, которая, косясь в зеркало, наводила красоту, — размножаться! Плодитесь и размножайтесь, сказано, занимайте землю и владейте ею. У меня их четверо, гавриков. Всех по дедам назвал. Вырастут! А у вас?

Все опять смолчали. Но каждый про себя подумал, что надо бы Славу уволить этого умника, которого зовут — Иван.